

К.И.Зубков

## ПЕТРОВСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК РЕЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛИЗМА (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Большинство историографических попыток дать целостное социокультурное измерение первой крупномасштабной модернизации, осуществленной в России при жизни Петра I, в конечном счете останавливается перед проблемой соотношения инициированной им «европеизации» — мощной волны прямых культурных заимствований и копирований западноевропейской «современности» — и того потенциала саморазвития, которым обладала *sui generis* (или, напротив, не обладала) еще не поколебленная в своих органичных основах «старомосковская» традиция. Последнюю, правда, как показывает А.М.Панченко, также едва ли можно рассматривать как внутренне однородную и непроницаемую культурную субстанцию: «европеизация» уже в нескольких поколениях достаточно зримо предшествовала петровским преобразованиям, если не как отчетливая восходящая тенденция, то, по крайней мере, как некоторое внушительное по охвату жизненных проявлений «неоднородное и пестрое наследство»<sup>1</sup>.

Правда, и в этом пункте оценка степени культурного прогресса России XVII в. таит напряженную раздвоенность, прежде всего, с точки зрения готовности русского общества к полноценному усвоению и переработке шедших с Запада влияний, превращению их из внешнего, эпигенетического фактора эволюции в механизм осознанного, внутренне обусловленного обновления культурных оснований<sup>2</sup>. Анализ этой проблемы предполагал однако не только ретроспективное освещение предпосылок петровских преобразований. Для С.М.Соловьева, например, самым убедительным подтверждением соответствия энергичной деятельности Петра Великого назревшим потребностям развития страны являлось «значение времени», прошедшего со дня его смерти до воцарения Екатерины II, возможно даже, первое десятилетие этого периода, когда вопрос о судьбе петровского наследия еще не исключал в определенных кругах оптиматов той или иной возможности возврата к «старине». «...Новый порядок вещей остался и развивался, и мы должны принять знаменитый переворот со всеми его последствиями как необходимо вытекший из условий предшествовавшего по-

ложения русского народа»<sup>3</sup>, — так определил свою отношение к петровским реформам известный русский историк.

Сразу отметим, что подобное суждение методологически не совсем безупречно, поскольку отсчитываемые от эпохи Петра «прошлое» и «будущее» далеко не симметричны, как несимметричны вообще прошлое и будущее (в особенности если границей между ними является модернизационный переход). С этой точки зрения более корректной была бы попытка обнаружить в русской истории некоторый нарастающий по интенсивности ритм преобразовательной активности, совпадающий по рисунку и внутренней логике с петровскими реформами. Это однако невозможно сделать без попытки нарисовать целостную картину петровских реформ в синхронном регионально-дифференцированном геокультурном срезе, поскольку изначально неоднородная в социокультурном отношении территория России должна была характеризоваться и столь же различными уровнями рецепции реформистских новаций, разной мерой органичности и избирательности в их освоении, а стратегический итог реформ — сложной комбинацией старого и нового (в том числе и пространственной), которая решительно изменила место и роль России в системе мировой политики.

Постановка такой проблемы далеко не нова в историографии. Характеризуя рост новых политических идей в Московском государстве XVI–XVII вв., А. С. Лаппо-Данилевский подчеркивал, что «отсутствие единства» в их развитии и усвоении сказывалось не только на уровне отношений более передового «правительства» и косного русского «общества», но и культурно-географически, в частности, в плоскости религиозно-культурного сопряжения Москвы и Малороссии<sup>4</sup>. Это как раз тот случай, когда ученость, погруженность в стихию новых культурных веяний были гораздо более ярко представлены вновь присоединенной «украиной», «страной козаков», чем политической метрополией.

Очевидно, что в подобных ситуациях и векторы реформаторства приобретали не столь однозначную направленность: управленческие воздействия из центра на периферию (по крайней мере в границах «эффективной» национальной территории) должны были дополняться широким, хотя и проявляющимся подспудно, отраженным «цивилизаторским» влиянием периферии на политику центра. Уже при жизни Петра обстоятельства присоединения к

России первой крупной инациональной территории — Остзейского края — продемонстрировали не только необычайно внимательное, граничащее с пиететом, отношение монарха к сохранению имущества, привилегий и обычаев местного «рыцарства» (в этом еще можно видеть сугубо стратегический расчет), но и сознательную ориентацию на инкорпорированный в тело России «западнический» культурный образец (роль университетов)<sup>5</sup>. (С этим, по видимому, необходимо связывать и столь длительное сохранение на фоне общерусского гражданского права остзейского «*jus particulare*» в настоящем смысле слова, как совокупности юридических начал, нормирующих правоотношения, возникающие в известном, территориально ограниченном, районе»<sup>6</sup>). Брачный союз царской племянницы Анны Иоанновны с курляндским герцогом Фридрихом-Вильгельмом (первый в этом ряду «русскоевропейских» династических браков) отчетливо закреплял эту ориентацию — и, как показали последующие события, не только символически.

В известной мере динамике этого пространственного культурного «расслоения» подчинялся и процесс освоения новых территорий. Логично предположить, что нарождавшаяся в русле политики модернизации (если, конечно, речь идет в самом деле о модернизации) новизна, «современность» с большей легкостью должны были утверждаться на тех территориях, где сопротивляемость старых хозяйственно-культурных укладов ощущалась в наименьшей степени; здесь, по крайней мере, из наличных социальных и культурных элементов осуществляемая государством «сборка» нового уклада могла происходить в гораздо более чистом виде. В то же время недостаток местного социокультурного «материала» придавал совершенно исключительное значение в насаждении нового порядка непосредственно государству как главному агенту и главной заинтересованной стороне модернизационного процесса.

Ясно, что в такой постановке вопрос о «буржуазности» или «крепостническом характере» петровской модернизации если не снимается вообще, то по крайней мере значительно видоизменяется. Формировавшийся в этот период российский абсолютизм представит не только как политический строй или политический режим, венчающий собой компромисс различных фракций дворянства, но и как системообразующий прототип всей социальной организации общества. Отсюда и то неподвластное строгой социально-

классовой идентификации особое качество развития, которое А.Я.Аврехом было в свое время охарактеризовано в известной дискуссии о русском абсолютизме как «предбуржуазность»<sup>7</sup>. (Сегодня, как никогда, имело бы смысл вновь вернуться к обсуждению этой глубокой, плодотворной идеи).

В контексте модернизации русский абсолютизм следует скорее рассматривать не как органичный продукт развития общественных отношений с заранее положенными ему пределами (так называемая «классовая ограниченность» дворянских идеологов), но как «тотальную», руководимую «свободным разумом» проективную культуру, в которой представление о единственно «разумной» реальности и есть в значительной степени сама воссоздаваемая реальность. Этот вывод может восприниматься как явный регресс исторического сознания и в который раз возбуждать закономерный вопрос: не наивно ли объяснять эпоху из тех идей и представлений, в которых она мыслит самое себя?

Полагаем, что связь господствовавшего в век Просвещения критерия «разума» с исторической реальностью этого времени не так проста, как кажется на первый взгляд, особенно в ситуации модернизационного перехода. Парадокс заключается в том, что освящавшие петровский абсолютизм идеологические представления не были даже для своего времени представлением о последнем слове «разума» и вершине исторического совершенства. Невозможно, например, представить, что просвещенной элите послепетровской России, скажем, В.Н.Татищеву, было в силу «классовой ограниченности» недоступно понимание преимуществ республиканского строя («общественного правления») перед монархией («единовластием»), особенно в свете признания им того факта, что при республике «народ учением просвясчен и законы хранить без принуждения прилежит». Свои выводы о благотворности самодержавия для России В.Н.Татищев формулирует как выводы вполне относительные и исторически обусловленные: «Великие и пространные государства, для многих соседей завидуящих, оные ни которым из объявленных правиться не может, особливо где народ не довольно учением просвясчен и за страх, а не из благоправия или познания пользы и вреда закон хранит, в таковых не иначе, как само- или единовластие потребно»<sup>8</sup>.

Как видим, в интеллектуальном контексте русского Просвещения апология абсолютизма есть итог целой цепи рационалистических доказательств, осмысливаемых как ступени вынужденного нисхожения «разума» в грубую, отсталую, несовершенную реальность. Можно сказать, что эпоха модернизации всегда очень ясно и предметно мыслит дистанцию, которая отделяет должное от сущего — то, что идеально «разумно», от того, что действительно, налично.

В то же время эта эпоха почти не знает компромиссов и сомнений относительно всеобщей и конечной правоты «разума». «Свободный разум», или разум, основанный на науке, — вещь достаточно самовластная и деспотичная. Один из основоположников немецкой диалектики И.-Г.Фихте, решая занимавший его эпоху вопрос о том, как совершается переход от «господства разума через посредство голого инстинкта» к его «господству через свободу» (читай: науку — К.З.) («...Как может раздвоиться и начать борьбу с самим собой в человеческой жизни единый разум, выражающийся одинаково и в инстинкте и в стремлении от него освободиться?»), единственную возможность такого перехода видит в деспотизме обретшего подлинную свободу индивидуального разума: «...Результаты разумного инстинкта превращаются более сильными особями рода, в которых именно поэтому этот инстинкт выражается наиболее громко и сильно, вследствие столько же естественного, сколько излишне торопливого стремления возвысить до себя весь род, или скорее, поставить себя самих на место рода (курсив наш — К.З.), в авторитет, приказывающий внешним образом и осуществляемый принудительными мерами»<sup>9</sup>. Эта необходимая ступень преобразования реальности, согласно логике Просвещения, не может не нести с собой насилия над «варварством».

Такая постановка вопроса о средствах распространения «разума» и организации общества на его началах имманентно присуща радикальной «отрицательной» философии Просвещения. В западной литературе, в частности, с христианско-гуманистических позиций подобному истолкованию периодически подвергаются отдельные стороны социальной и политической философии Ж.Ж.Руссо, представления которого о безграничном диктате государства в насаждении единственно «разумной», рационалистически доказанной и нормированной «свободы» для граждан (но не самих граждан)

рассматриваются не только в качестве идейных предпосылок якобинства, но и всех современных тоталитарных идеологий вообще<sup>10</sup>.

С этой точки зрения вся реформаторская деятельность Петра I не может быть интерпретирована лишь как насаждение европейской цивилизации специфически русскими, то есть принудительными, средствами и методами. Для Европы XVIII столетия последние, по-видимому, вообще были довольно типичны и находили свое обоснование именно в рационалистической философии Просвещения, в постановке всего дела государственного благосостояния и управления на началах «разума». В этой связи весьма красноречива, например, характеристика К.Марксом прусского короля Фридриха II (кстати, как и Петр I, вошедшего в историю с эпитетом Великий) как «друга просвещения с помощью розги»<sup>11</sup>. Наиболее деспотичные стороны в политике этого государственного «гения» Пруссии (насильственные в ряде случаев вербовки и захваты «живой силы» для растущего мануфактурного сектора, расцвет солдатчины и гипертрофированная роль армии в жизни страны, усиление налогового гнета, культивирование известных «кастовых» барьеров и запретов в социальном строе и т.п.) являлись не «отступлениями» монарха от идей Просвещения, как это трафаретно (в контексте чрезмерной идеализации просветительской идеологии) трактуется в ряде работ<sup>12</sup>, а скорее прямыми следствиями того «свободного» (религиозно-индифферентного, полубатеистического, а потому и морально ничем не связанного), глубоко личного стиля правления и организации государственных дел, который для практикующего Просвещения был как раз типичен.

Следовательно, в случае петровской модернизации речь, скорее, следует вести о внедрении европейских порядков вполне типичными (по крайней мере, приемлемыми и рационально оправданными) для идеологии европейского же Просвещения средствами, которые в России неизбежно приобретали специфически русскую окраску и — в силу новизны самой задачи — были явлены миру, как писал К.Д. Кавелин, «со всею неопытностью, мечтательностью, пренебрежением к действительности, как является всякое новое начало, верующее только в себя и в свою силу»<sup>13</sup>. (В этом контексте становится совершенно понятным, почему происходившая при Александре II модернизация не могла пойти и не пошла по пути Петра: изменился дух эпохи, к середине XIX в. ее господствующий идейный

дискурс был уже исключительно либеральным, а не радикально-просветительским).

Наиболее замечательной и оригинальной чертой процесса было однако то, что радикализм ломки старых феодально-клерикальных порядков, который в Европе еще только оттачивался в качестве лозунга и стиля исключительно умственной жизни, в петровской России вполне в духе наступавшего века Просвещения, почти не различавшего логического и реального следований, находил подчеркнута реальное, прагматическое воплощение. Отсюда и типологическая характеристика первой русской модернизации как «догоняющей» не вполне верна — она, скорее, рационалистическая и в этом смысле в известной мере и утопическая (конечно, не с точки зрения ее безрезультатности вообще, а с точки зрения принципиальной невозможности организации жизни согласно положениям науки об «общем благе»). В понятиях своей эпохи, Россия при Петре I никого не «догоняла» — она лишь впервые создавала свою русскую цивилизацию, поскольку европейская цивилизация тогда понималась исключительно в космополитическом духе — как единая и единственная цивилизация вообще, как основанная на началах «разума» универсальная ступень развития человечества, противостоящая «варварству»<sup>14</sup>.

Интересно, что А.И.Герцен, столь же тонкий критик петровских реформ, сколь и их восторженный почитатель (эта либерально-прогрессистская амбивалентность отношения к Петру ясно сквозит у писателя во множестве образных характеристик, вроде «коронованный революционер», «деспот наподобие Комитета общественного спасения»<sup>15</sup> и т.п.), разбирая так называемую «немецкую проблему» в русской истории Нового времени, по-видимому, весьма точно уловил тот исходный — совершенно «безнациональный» — рационалистический смысл, который лежал в основе приглашения немецких выходцев (а равно и шведских пленных) на русскую службу: «В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно: точность и бесстрашие машины (здесь и далее курсив наш — К.З.), молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающая усталости. Добавьте к этому известную честность (очень редкую среди русских) и как раз столько образования, сколько требует их должность, но совсем не достаточного

для понимания того, что вовсе нет заслуги быть безукоризненными и неподкупными орудиями деспотизма; добавьте к этому полнейшее равнодушие к участи тех, которыми они управляют, глубочайшее презрение к народу, совершенное незнание национального характера, и вам станет понятно, почему народ ненавидит немцев и почему правительство так любит их»<sup>16</sup>.

Лишь в период «бироновщины», когда произвол и казнокрадство (первый признак чисто «человеческой слабости» немца перед инонациональной средой) остзейских выходцев соединились с фаворитизмом как неформальным способом влияния на государственные дела (еще одно, не менее значимое отрицание принципа рациональности!), присутствие иностранцев при дворе стало восприниматься русским обществом непосредственно как немецкое засилие. С.М.Соловьев очень точно и образно описал эту драму русского самосознания, внезапно, силой обстоятельств, пережившего крах великой иллюзии безнационального, «чистого» ratio: «Недавно противники преобразования называли преобразователя иноземцем, подкидывшем в семью русских царей; но другие и лучшие люди смеялись над этими баснями. А теперь въявь, без прикрытия иноземец, иноверец самовластно управляет Россией и будет управлять семнадцать лет. (Имеется ввиду предсмертное распоряжение Анны о регентстве Э.И.Бирона — Авт.) По какому праву? Потому только, что был фаворитом покойной императрицы! Какими глазами православный русский мог теперь смотреть на торжествующего раскольника? (курсив наш — К.З.)»<sup>17</sup>.

Эта метаморфоза рационализма, соприкасающегося с живой действительностью, дает повод отметить другую важную, хотя и глубоко символическую, сторону его приложения к задачам модернизации. Резко усиливая в обществе дифференциацию по функциональному признаку, модернизация порождает не только множественность функционально-односторонних систем «описания» данного общества, но и воспроизводит достаточно жесткую поляризацию в отношениях между новой системой действия и устоявшимся жизненным миром. Этот конфликт отчетливо проходит через все царствование Петра I.

Более выразительно, чем в какой-либо иной сфере, он может быть усмотрен в полной рассогласованности процессов коммуникации между «новоевропейской» Россией и допетровской Русью, в



особенности, при рассмотрении порожденного петровскими преобразованиями внутреннего культурного раскола русского общества в семиотическом аспекте. Как показывает, в частности, Б.А.Успенский, многие петровские культурные инновации, взятые как раз в их формальном, языковом аспекте, встречали в традиционном сознании не просто непонимание, но и резко негативную реакцию, поскольку контаминировали с кощунственным глумлением над самыми глубокими, сакральными морально-религиозными ценностями общества (откуда и устойчивый эсхатологический мотив царя-«Антихриста»)¹⁸.

Не менее негативной была реакция модернизирующей власти (и ее идейных сторонников) на существование в обществе всякого «нерегулярного», неприкрепленного, бродячего, одним словом, несистемного элемента, несущего в себе напоминание о допетровском быте. Возможно, наиболее ярко этот взгляд выражало позднейшее ломоносовское «Слово похвальное ... Петру Великому» (26 апреля 1755 г.), в котором к открытым «неприятелям» России отнесены не только враги внешние (Швеция, Турция, Крым и др.), но и внутренние, воплощавшие подвижную народную стихию: «стрельцы, раскольники, козаки, разбойники»¹⁹.

В геополитическом измерении эта сторона общественного конфликта выразилась в резком противостоянии так называемой «эффektivной» (или упорядоченной) национальной территории, поставленной под жесткий военно-административный контроль, и подвижных, «нерегулярных», пополняемых разного рода «сходцами» и беглецами окраин, образовавших настоящий внутренний фронт войны с властью (Астраханское восстание 1705–1706 гг., Башкирское восстание 1707–1708 гг., Булавинское восстание 1707–1708 гг., измена Мазепы и выступление на его стороне запорожских казаков в 1709 г.). Думается, что в генезисе этих внутренних неурядиц социальная и культурная сторона были максимально сближены. А.И.Герцен замечал в этой связи, что покушение на обычаи и образ жизни низов в петровскую эпоху было неразрывно связано с «вмешательством государства в их дела, бюрократическими придирками, каким-то неясным и неопределенным отягощением их рабства (курсив наш — К.З.)»²⁰.

Подобная утрата обществом естественной (так называемой бесконкурентной) репрезентации, как отмечает известный немецкий

социолог Н. Луман, сопровождается переводом проблемы тождества, или самоидентификации, общества в абстрактный план, в область восстанавливающей единство новой символики<sup>21</sup>. Для XVIII в. рационализм, предстающий как апофеоз «всеобщего разума», был как раз подобной попыткой обретения модернизируемым обществом нового тождества — попыткой в целом неудачной и даже обратной по эффекту, если рассматривать ее результативность не с позиций достигнутых военно-политических успехов и технико-экономических высот модернизации, а с точки зрения восстановления целостности общественного организма.

Не перечисляя всех вдохновляемых этим неявным «идеологическим заказом» (и обогащенных весьма изощренными культурно-символическими подтекстами) гражданско-политических и спиритуалистических интерпретаций демиургической роли монарха и императора, отметим гораздо более важные в перспективе смысловые дивергенции, связанные с преодолением патримониальной монархической концепции власти. Это, прежде всего, артикулирование смутно осознаваемой пока (и постоянно оттесняемой на периферию традиционными восприятиями) идеи Отечества и гражданского служения, которая, максимально тесно срастаясь с идеей «царской службы», с ней все-таки полностью не сливается.

Однако, как подчеркивал С. М. Соловьев, именно в отношении этого зарождающегося сегмента «гражданственности» результаты реформ были минимальными и внутренне противоречивыми. Сподвижники Петра «принесли свое мужество для борьбы со внешними врагами, способность к тяжелому труду, способность быстро приобрести знание, искусство в том или другом деле, нужном для России; но многие не принесли другого высшего, гражданского мужества (курсив наш — К.З.), не принесли способности отказать от частной корысти для общего дела, способности отвыкнуть от жизни врознь, способности отвыкнуть от взгляда на службу государственную как на кормление, на подчиненных как на людей, обязанных кормить, на казну как на общее достояние в том смысле, что всякий, добравшийся до нее, имеет право ею пользоваться»<sup>22</sup>. Очевидно, что насаждение этого культурно-политического образца деспотическими средствами и исключительно личной волей самого царя-реформатора на каждом шагу приводило к его же самоотрицанию.

Эта внутренняя противоречивость петровских реформ в государственно-политическом аспекте во многом дает ключ к пониманию и оценке их социально-экономических результатов. Рационализм, пронизывавший всю преобразовательную деятельность Петра Великого, по-видимому, является ключевым критерием в определении меры и значения того, что можно интерпретировать как «предбуржуазное» развитие. Для понимания последнего необходимо учесть проведенное в свое время М.Вебером принципиальное различие между отдельными конститутивными элементами капиталистического уклада (капитал и ориентация на получение прибыли, свободный труд, расширенное товарное производство, рыночный обмен), которые в зачаточном виде — и даже с группировкой в той или иной пропорции — присутствовали в хозяйственной жизни во все времена и у всех народов (так называемая «капиталистическая деятельность»), и их завершенной рациональной «сборкой», которая только и создает собственно капитализм в виде системно упорядоченной, определенным образом регламентированной системы производства («рациональная организация свободного труда в виде предприятия», без которой невозможна точная калькуляция факторов производства и полноценная его «коммерциализация»)<sup>23</sup>.

Несколько отступая от того исторического порядка, в котором М.Вебер рассматривает становление западного капитализма, его системное закрепление в реальности, можно с той же степенью уверенности говорить о принципиальной возможности создания рациональной организации крупнопромышленного производства без наличия соответствующих зрелых элементов капиталистического уклада, в частности, свободного труда, который и в веберовском анализе как бы венчает собой весь процесс сложения завершеного капиталистического предприятия. По крайней мере сам М.Вебер ясно видел пределы и возможности такой имитации капитализма в тех «исключениях», которые демонстрировали «очень немногочисленные и совершенно специфические, во всяком случае, в корне отличные от современных предприятия, прежде всего в рамках государственных монополий»<sup>24</sup>. По-видимому, возможность измерить эту степень приближения крупной государственной мануфактуры к «чистой» рациональности капиталистического предприятия — это единственный приемлемый способ избежать односторонне-прямолинейных оценок петровских реформ и обсудить проблему

их «буржуазности» (или «небуржуазности») в многокомпонентном пространстве признаков.

Специфика анализа этой проблемы заключается в необходимости не только учесть ее пространственно-географические вариации (региональный анализ), но и значительно расширить ее содержательный диапазон. Речь идет, в частности, о том, чтобы сосредоточить внимание не только на проблеме рациональной организации предприятия (прежде всего вытекающей из требований техники и технологии), но и на том, с какой последовательностью и в какой степени рациональные принципы затронули организацию самого государства. На наш взгляд, важнейшие системные трансформации, которые М. Вебер связывал с рациональной организацией капиталистического предприятия, например, «отделение предприятия от домашнего хозяйства» и внедрение «рациональной бухгалтерской отчетности», должны были — коль скоро речь идет об организации государственного хозяйства — проявиться прежде всего на уровне самого государства.

Бюрократическая централизация государственного управления, дифференциация и регламентация отдельных его отраслей и функций рассматриваются как первый и важнейший итог системных преобразований, осуществленных Петром I. Создание «регулярного» абсолютистского государства, основанного на изолированной фискальной эксплуатации подданных, исчисляемости государственных доходов и расходов (бюджет) и резком расширении сферы государственного хозяйства, ведомого на счет и на нужды казны, несомненно, имело признаки складывания не только рационально организованной системы управления, но и рационально управляемого предприятия (казенное хозяйство, снизу доверху охваченное единым «дирекционным» управлением).

Рациональность последнего была однако относительной, поскольку в России Петра Великого так и не произошло четкого разграничения публичного и частного права, административной и судебной систем, военных и экономических задач, военного артикула и гражданского закона, в силу чего «регулярное» абсолютистское государство продолжало в основном сохранять черты патримониальной (вотчинной) монархии, так называемого *Guts- und Hausherrn* («домашнего хозяйства»). Наряду с «регулярной» отраслевой системой управления (коллегии), внутри государственного хо-

зайства существовала ведомственная дифференциация малопонятной природы (казенное, дворцовое хозяйство), которая была обусловлена скорее сложностью и многосоставностью разраставшегося объекта управления, чем юридическим отделением интересов и структуры государства (казны) от собственности самого монарха.

Хотя внутри государственного хозяйства существовало в значительном виде и разделение юрисдикции (например, между Берг-коллегией, осуществлявшей общее управление и надзор за развитием горного дела, и Сенатом, узаконивавшим приписку крестьян к заводам и передачу горных предприятий компаниям и частным лицам), принцип легалитета (санкции закона на совершение любого действия в сфере государственного управления) на русской почве так и не утвердился<sup>25</sup>. О рациональности подобной системы можно говорить только в определенном, чисто технократическом, смысле — лишь как об организационном механизме, обеспечивавшем личностную проекцию воли монарха на гигантскую по масштабам «машину» государственного управления.

С этой точки зрения региональная и «горизонтальная» дифференциация единой системы государственного управления может рассматриваться не столько как учет особенностей каждого данного объекта управления, сколько как градация существенно разных степеней их «проницаемости» для прямого государственного контроля. Очевидно, что любое смещение в системе, обеспечивавшей полное слияние «гражданских» и подданных отношений, или копирование ее на уровне отдельных частнохозяйственных «анклавов» скорее могли порождать тенденцию к генезису «правильного», «регулярного» феодализма (до сих пор не типичного для России), чем намечать линию буржуазного развития. Рационалистически окрашенная «предбуржуазность» петровской модернизации поэтому может рассматриваться как своеобразный контрапункт, дающий начало целому спектру линий исторической эволюции.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Панченко А.М. Начало петровской реформы: идейная подоплека // Из истории русской культуры. Т. III (XVII — начало XVIII века). М., 1996. С. 505.
2. См. об этом подробнее: Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры. XVII–XVIII вв. М., 1990. С. 17–24.
3. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. IX. История России с древнейших времен. Т. 17–18. М., 1993. С. 538.
4. Лаппо-Данилевский А. С. Указ. соч. С. 21.
5. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. VIII. История России с древнейших времен. Т. 15–16. М., 1993. С. 341–342.

6. Кассо Л.А. Общие и местные гражданские законы. (Вступительная лекция, читанная в Харьковском Университете 27 января 1896 г.). Харьков, 1896. С. 4.
7. Аврех А.Я. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в России // История СССР. 1968. N 2; Он же. Утраченное «равновесие» // История СССР. 1971. N 4.
8. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 147.
9. Фихте И.-Г. Сочинения в двух томах. Т. II. СПб., 1993. С. 368.
10. См. об этом любопытную статью английского историка: Johnson... P. Is Totalitarianism Dead? // The Human Life Review. Spring 1989. Vol. XV, No. 2.... P. 65–76.
11. Марк К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 6. С. 519.
12. Эта точка зрения, совершенно напрасно полемизирующая с Марксовой характеристикой правления Фридриха II как «просвещенного абсолютизма», представлена, например, в работе: Гинцберг А.И. Фридрих II // Вопросы истории. 1988. № 11. С. 98–118.
13. Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 163.
14. См. о показательном с этой точки зрения средстве реформаторских идей Петра I и Г.В.Лейбница: Фишер К. История новой философии. Том третий. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905. С. 242–246.
15. Герцен А.И. Письма в будущее. М., 1982. С. 223.
16. Там же. С. 232.
17. Соловьев С.М. Сочинения. Кн. XI. История России с древнейших времен. Т. 21–22. М., 1993. С. 11.
18. См.: Успенский Б.А. *Historia sub specie semioticae* // Из истории русской культуры. Том III. С. 519–527.
19. Ломоносов М.В. Избранная проза. М., 1986. С. 290.
20. Герцен А.И. Указ. соч. С. 227.
21. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социологос. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М., 1991. С. 196–197.
22. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 129.
23. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 49–59.
24. Там же. С. 51.
25. Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. С. 258.